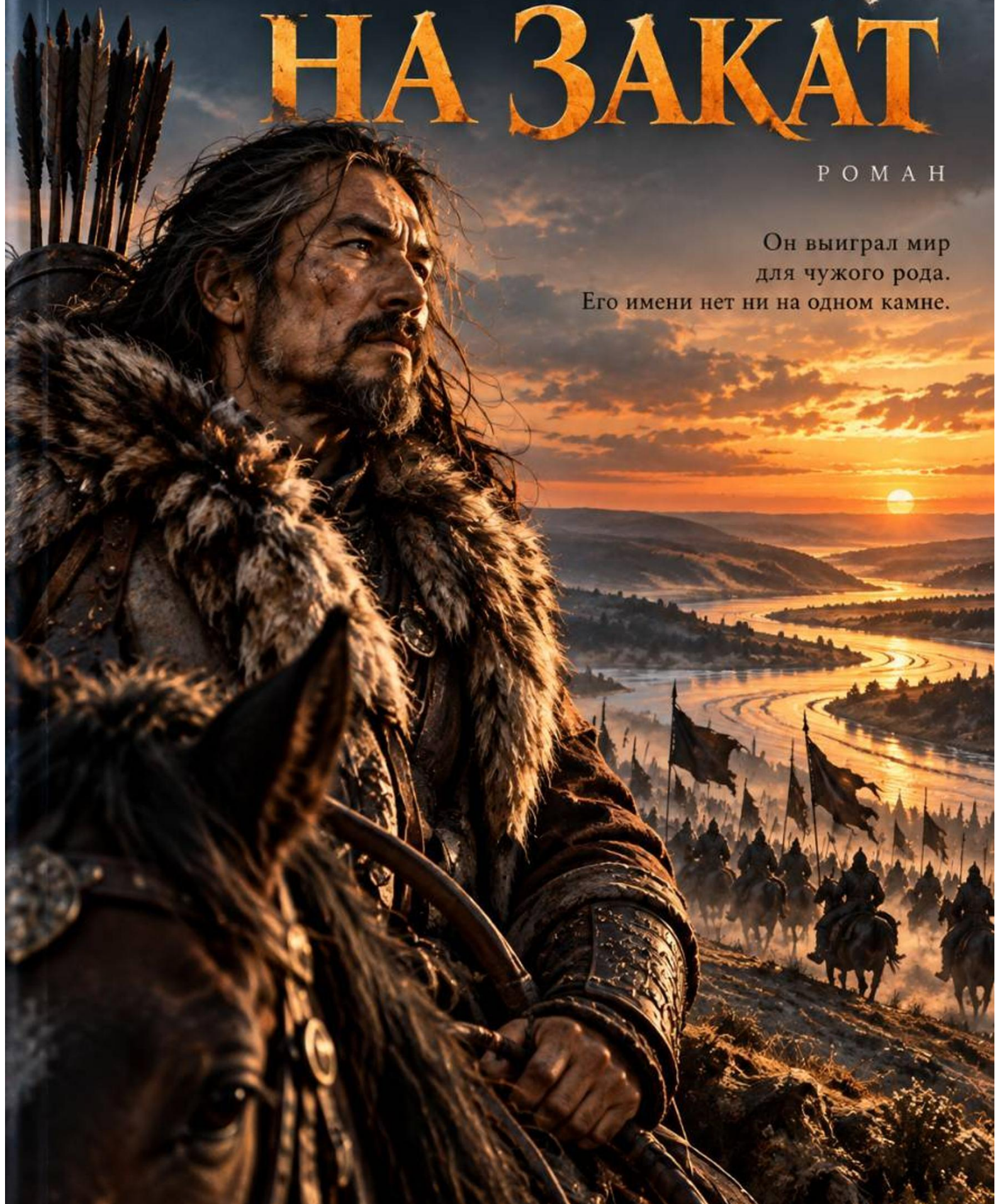


АЛЕКСАНДР ДЕМИДОВ

СОРОК ЛЕТ НА ЗАКАТ

РОМАН

Он выиграл мир
для чужого рода.
Его имени нет ни на одном камне.



Aleksandr Demidov

40 лет на закат

«Автор»

2026

Demidov A.

40 лет на закат / А. Demidov — «Автор», 2026

Он завоевал полмира. Но ни один из завоёванных городов не носит его имени. Субэдэй — сын лесного кузнеца, ставший одним из величайших полководцев в истории. Он прошёл путь от никому не известного юноши до человека, перед которым отступали армии и рушились королевства. Он побеждал там, где победа казалась невозможной. И всю жизнь служил чужому роду. 1248 год. Умирающий полководец принимает писца, присланного записать секреты его побед. Тот ждёт рассказов о великих битвах, военных хитростях и покорённых народах. Но вместо истории завоеваний слышит историю человека, который отдал империи всё — и однажды задумался, что осталось ему самому. От кузницы в лесах урянхаев до стен Китая, от степей Хорезма до кровавых полей Европы — сорок лет войн, верности и решений, за которые расплачивались целые народы. «Сорок лет на закат» — исторический роман о цене победы, природе власти и человеке, который выиграл мир для других.

© Demidov A., 2026

© Автор, 2026

Содержание

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ. ЖЕЛЕЗО	5
1	5
Тола, 1248	5
2	7
Лес урянхаев, ок. 1180	7
3	10
Тола, 1248	10
4	13
Онон, ок. 1190	13
5	16
Ставка, ок. 1197	16
6	19
Тола, 1248	19
7	22
Северный Китай, ок. 1212	22
8	26
Тола, 1248	26
Конец ознакомительного фрагмента.	29

Aleksandr Demidov

40 лет на закат

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ. ЖЕЛЕЗО

1

Тола, 1248

Юрта стояла отдельно, шагах в трёхстах от становища, у самой воды, и Тохта понял, почему ещё до того, как вошёл.

Его продержали снаружи полдня. Пока он сидел на своём сундуке, поставив его на землю, всё это время женщина носила воду — вниз к Толе, вверх к юрте, вниз, вверх. Она не глядела на него. Никто не глядел. Приехал человек из канцелярии, с бумагой и печатью, и это здесь ничего не значило.

К вечеру полог откинули.

Внутри было темно и очень тепло. Горел очаг, хотя стоял конец лета. Тохта переступил порог, наклонившись, и выпрямился, и первое, что он увидел, была нога.

Она лежала поперёк, вытянутая, не сгибаясь, укрытая до колена. Ступня была голая. Она была больше, чем ступня должна быть, и цвета, которого у живого не бывает.

Он поднял глаза выше.

Тело занимало половину юрты. Оно лежало на войлоке, обложенное подушками, и войлок под ним просел. Живот поднимался и опускался медленно, с усилием, будто под ним работал кто-то другой, и уставал. На груди лежали руки. Пальцы были короткие, толстые, с расплюснутыми ногтями, и ногти были чёрные — не грязные, а чёрные насквозь, изнутри.

Лица Тохта сначала не нашёл. Потом нашёл.

Левого глаза не было. Веко не закрывалось до конца, и в щели было темно. Правый смотрел в потолок, туда, где дымник, и было видно небо, и небо было пустое.

Тохта стоял.

Он ехал сюда шесть недель. Он готовил первый вопрос всю дорогу и переделывал его четырежды, и последний раз — вчера ночью, на последней стоянке, и вопрос был хороший. Он был про Шайо.

Он открыл сундук и стал доставать инструменты для письма. Кисти. Тушь. Камень. Воду. Он делал это долго, дольше, чем нужно, и руки у него не дрожали.

— Ты откуда, — сказала тело.

Голос был высокий. Тонкий. Он не подходил к этому телу, он подходил бы мальчику, и Тохта на мгновение решил, что в юрте есть кто-то ещё.

— Из Каракорума, — сказал он. — Из канцелярии. Прислан записать...

— Я не спросил, откуда прислан.

Глаз не двигался. Он всё так же смотрел в дымник.

Тохта поставил тушечницу. Поправил её.

— Бешбалык, — сказал он.

— Уйгур.

— Да.

Тело дышало.

— Ваши сами пришли, — сказал Субэдей. — В четвёртом году. Идикут приехал сам, привёз дочерей и золото, и сказал: буду пятым сыном. Никто его не звал. Он приехал раньше, чем мы собрались на них.

— Да, — сказал Тохта.

— Хорошее решение.

Тохта взял кисть. Положил.

— Я не воевал, — сказал он. Он не собирался этого говорить. — Я не был ни в одном походе. Меня прислали записать, как располагались войска, как передавались приказы и как принимались решения о взятии городов. Для наставления тем, кто придёт после вас.

— Я слышал.

— Если ты сочтёшь, что я недостойн...

Тело засмеялось. Это было плохо — живот пошёл вверх и вниз, вверх и вниз, и что-то в нём булькнуло, и смех кончился кашлем, долгим, и Тохта стоял и смотрел, как умирает от кашля человек, который взял Киев.

Кашель кончился.

— Сколько тебе лет, — сказал Субэдей.

— Тридцать шесть.

— Твой дед видел, как мы пришли.

— Да.

— Что он говорил.

Тохта посмотрел на кисть. Кисть была новая, он купил её в Каракоруме, отдал слишком много, потому что ехал к Субэдею и хотел приехать с хорошей кистью.

— Он говорил, что вы пришли тихо, — сказал он. — Что он думал, будет ужас, а наступил порядок. Он говорил, что от этого стало хуже.

Молчание.

Потом глаз перестал смотреть в дымник.

Он повернулся — медленно, с усилием, всей головой, потому что шея не поворачивалась отдельно, — и остановился взглядом на Тохте, и Тохта впервые понял, что до этой секунды его не видели.

— Садись, — сказал Субэдей.

Тохта сел.

— Ты приехал спросить, как я взял мир.

— Да.

— Не то.

Он снова отвернулся к дымнику, и это заняло столько же времени, сколько заняло повернуться.

— Спроси, как я его отдал.

Тохта не понял. Он открыл рот, чтобы переспросить, и не переспросил.

Он придвинул бумагу, растёр тушь, вода была речная, из Толы, её принесла та женщина, и в ней была муть, тушь стала серой.

Он написал первую строку.

Она была не та, за которой он ехал.

«В первый день он не сказал ничего о войне».

2

Лес урянхаев, ок. 1180

Летом в кузнице было хуже, чем зимой.

Зимой отец открывал полог, и внутрь входил холод, тогда они работали в двух температурах сразу — снизу морозило, сверху резало, и это было терпимо. Летом полог держали закрытым, потому что от сквозняка огонь горна шёл неровно, и внутри стояло такое, чему у него не было описания. Он дышал ртом. Он дышал ртом с утра до вечера, и к ночи горло было как тёрка, и он пил, и вода не помогала.

Ему было шесть.

Он работал мехами. Это была вся его работа, и она была тяжёлая не потому, что мехи были тяжёлые, а потому что нельзя было останавливаться. Отец никогда не рассказывал что делать. Один раз в жизни, и это было очень давно, и он не помнил слов, он помнил только руку — она взяла его руку и положила на рычаг, и надавила, и отпустила, и надавила, и отпустила, и это был все объяснение.

Он качал.

Горн менял голос. Когда он качал ровно, горн гудел низко и тихо, как будто спал. Когда он сбивался — а он сбивался, потому что ему было шесть лет и потому что руки уставали, — гуд разваливался, и уголь начинал сипеть.

Отец не оборачивался. Он никогда не оборачивался. Он просто говорил в железо, не поднимая головы:

— Слышу.

И он выравнивал.

Железо лежало в углях, и он смотрел на него, потому что смотреть было больше не на что.

Оно было чёрное. Потом оно переставало быть чёрным — не сразу: он моргал, и оно уже было тёмно-красное, и он злился, потому что снова не увидел, когда это случилось. Потом красное. Потом красное становилось светлым, и это уже был не цвет, а свет, оно светилось само, изнутри, и от него было больно смотреть, а он все равно смотрел.

Вот тогда отец брал клещи.

Он вынимал железо и клал на наковальню, и первые удары были быстрые, и молот звенел, и звук был высокий, чистый, и искры шли короткими белыми нитями и гасли в земле. Он бил, и железо поддавалось. Оно было мягкое, оно ложилось, и делалось таким, каким его хотели.

Потом звук менялся.

Он ещё не умел объяснить, но он знал этот звук раньше, чем отец останавливался. Звон становился глуше. Молот начинал не петь, а стучать. Железо темнело — оно уже не светилось, оно было просто красное, потом тёмное, и оно сопротивлялось.

И вот тут — он видел это сто раз и каждый раз ждал — отец делал ещё один удар. Один. Всегда один лишний, всегда после того, когда звук изменился.

И останавливался.

И совал железо обратно в угли.

Он не понимал, зачем этот один лишний удар. Он думал об этом. Он думал об этом столько, сколько может думать шестилетний мальчик, то есть очень много, потому что больше было нечем заняться, кроме как качать меха и думать.

Однажды он спросил.

Отец сунул железо в горн и сел на пятки, и вытер лоб рукой, и на лбу осталась чёрная полоса.

— Проверяю, — ответил он.

— Что?

— Готово или не готово.

— А если не готово?

— Тогда бью ещё.

— А если готово?

— Тогда я потратил один лишний удар, — сказал отец. — Один удар — не жалко.

И всё. Больше он ничего не сказал. Он забрал железо из углей и снова стал бить, и звук был опять высокий и чистый.

Он качал мехи и думал.

Он думал: значит, отец бьёт лишний удар не потому, что не знает. А потому что нельзя узнать по-другому. Нельзя понять, что железо остыло, пока не ударишь по остывшему.

Он думал ещё вот о чём.

Отец был самый сильный человек в становище. Он это знал точно, это все знали. И этот самый сильный человек — стоял и ждал. Он не мог бить, когда хотел. Он мог бить только тогда, когда железо позволяло. Он всю жизнь делал то, что ему позволял кусок железа, лежащий в углях.

И железо слушалось его. . . .

Испорченный кусок же отец отбросил в тот же день.

Он не видел, что там пошло не так, — он видел только, как отец перестал бить, посмотрел на железо, повернул его, посмотрел ещё, и бросил под ноги, к стене, где лежала всякая дрянь.

— Не то, — сказал отец.

Он смотрел на этот кусок весь остаток дня.

Он был не похож ни на что. Он был длиной в ладонь, и в середине он был толстый, а к одному концу становился тонким, и в этом конце был излом, и излом был серый и зернистый, как мокрый песок на реке.

Ночью, когда отец ушёл, он вернулся.

Кузница остывала. Угли ещё дышали, и в темноте они были такие же, как железо перед ударом, — красные и живые, и он постоял, глядя на них.

Он подобрал кусок.

Железо было холодным. Кусок был холоднее, чем воздух, холоднее, чем земля, — он забрал тепло из руки сразу, все, и ладони стало зябко, и он ждал, что железо согреется.

Он держал его долго.

Оно не согрелось.

Он тогда не удивился. Он был маленький и решил, что просто держал мало.

Он спрятал его за пазуху и понёс домой, и оно висело у него на груди, чужое и холодное, и всю дорогу он думал, что вот сейчас, вот-вот согреется.

. . . .

Обжёгся он через год.

Отец окликнул его — он не слышал, он думал о своём, — и отец крикнул громче, и он дёрнулся и схватил клещи не за то место.

Он не закричал.

Он потом много раз возвращался к этому и не мог понять, почему не закричал. Больно было так, что мир побелел. Он стоял с клещами в руке, и ладонь варилась, и он держал.

Отец подошёл. Отнял клещи. Посмотрел на руку — коротко, как смотрел на железо, поворачивая.

Потом сунул её в бочку с водой.

Вода зашипела. Не громко. Тихо, коротко — как шипит железо, когда его гасят.

Он стоял, опустил руку в бочку, и смотрел на отца.

Отец вытер лоб и сказал:

— Теперь будешь слышать, когда зовут.

И вернулся к горну.

Это была вся наука. Она была правильная. Он больше никогда в жизни не пропускал, когда его звали, — ни разу, ни в одном становище, ни в одной ставке, ни под одним городом, никогда.

Шрам держался лет двадцать, потом стёрся.

Кусок железа остался с ним на всю жизнь.

3

Тола, 1248

Женщина внесла кислое молоко и вышла.

Тохта не притронулся. Он растёр тушь заново — вчерашняя высохла, — и разложил бумагу, и придавил края камешками, потому что от полога шел сквозняк, и лист загибался.

Старик лежал так же. Тохта не был уверен, что он вообще двигался за ночь. Женщина утром обтирала его, и Тохта вышел на это время, и, вернувшись, нашёл всё как было: нога поперёк, руки на груди, глаз в дымник.

— Я хотел бы начать с реки Шайо, — сказал Тохта.

Дыхание.

— Одиннадцатого апреля. Год барса.

— Да.

— Что тебя интересует.

Тохта посмотрел на свои записи. Он готовил этот вопрос шесть недель и переписывал четырежды.

— Ваша армия и армия короля стояли по разным берегам, — сказал он. — У короля был мост и был укреплённый лагерь. Переправа была одна. По всем правилам ты не мог перейти. Я хочу понять, как ты перешёл.

— Мостов было два, — сказал Субэдей.

— В донесениях один.

— В донесениях один, потому что второй сделали мы.

Тохта поднял кисть.

— Ниже по течению, — сказал старик. — В одном дне перехода от лагеря. Ночью. Там река шире и мельче, и берег с их стороны низкий, болотистый, и они его не стерегли, потому что там нельзя было переправить войско.

— Но вы переправили.

— Мы переправили тридцать тысяч за одну ночь.

Тохта писал.

— Как.

— Плоты. Лес рубили за два дня до переправы, в дневном переходе, чтобы не слышали. Плоты вязали днём, в лесу, разбирали и несли частями. Собирали на воде. Первыми пошли те, кто был без коней, они держали берег, пока шли кони. Коней пускали вплавь, по трое, средний с всадником, крайние на поводу. Потеряли около четырёхсот коней и около семидесяти человек.

Он говорил ровно. Голос был всё такой же — высокий, тонкий, не свой.

— Пока мы шли вниз, Батый шёл на мост.

— На тот, который стерегли.

— Да.

— Это было отвлечение?

Пауза.

— Нет, — сказал Субэдей. — Это было вправду. Он потерял много хороших воинов. Он потерял тридцать человек охраны и одного из тысячников, и его самого сбили с коня.

— Значит, это была ошибка.

— Это была цена.

Тохта поднял голову.

— Я не понимаю разницы.

— Ошибка — когда платишь и не получаешь, — сказал старик. — Мы платили за то, чтобы они всю ночь смотрели на мост.

Тохта посмотрел на лист.

Он писал быстро и без помарок, он умел, но рука шла сама, а он сидел и слушал, и внутри у него что-то поднималось, и он ещё не знал, что это.

— Дальше.

— Дальше они вышли из лагеря. Они всегда выходили, если видели, что можно ударить.

— Ты рассчитывал на это.

— Да.

— Откуда ты знал.

— Мы шли за ними четыре месяца, — сказал Субэдей. — Мы знали, сколько у них конницы и сколько пешцев, и кто ссорится с кем, и что король слушает брата, а брат храбрый. Мы знали, что они выйдут.

— Ты знал это до того, как пришёл к реке?

— Я знал это в декабре.

Тохта отложил кисть.

— И ты выбрал эту реку — в декабре?

— Я выбрал три реки, — сказал старик. — Эта была вторая.

Тохта сидел.

Тушечница остывала. От полога шел сквозняк, и лист поднимался краем и снова ложился под камешком.

— Дальше, — сказал он.

— Дальше мы сомкнулись. Мы гнали их обратно в лагерь, и они заперлись, и мы стояли вокруг и били из луков, и это шло до полудня.

— И вы взяли лагерь.

— Мы не брали лагерь.

— Тогда что.

— Мы открыли, — сказал Субэдей.

Тохта ждал.

— С запада мы оставили щель, — сказал старик. — Не широкую. Так, чтобы её увидели не сразу, а через какое-то время. Через какое-то время её увидели. И они пошли туда.

— Вы выпустили их.

— Мы выпустили их.

— Зачем?

Молчание было недолгое.

— Человек, которому некуда идти, дерётся, — сказал Субэдей. — Человек, которому есть куда идти, идёт. Он бросает щит, потому что со щитом тяжело. Он бросает копье. Он бежит, и рядом с ним бежит другой, и они уже не войско, они дорога. По дороге мы шли за ними тридцать миль.

Тохта не писал.

— Их было проще убивать в спину, — сказал он.

— Да.

— Ты придумал это заранее.

— Это старая хитрость, — сказал Субэдей. — Так гонят зверя. Всегда оставляют выход. В облаве всегда оставляют выход, иначе зверь идёт на людей, и рвет людей.

Тохта положил кисть на подставку. Она скатилась. Он поднял и положил снова.

— Скажи мне, — сказал он. — В тот день. Когда ты стоял и смотрел, как они бегут в щель, которую ты для них оставил.

Он остановился. Он сам не знал, что спрашивает.

— Что ты чувствовал?

Дыхание. Раз. Другой.

Глаз медленно повернулся — всей головой, тяжело, как поворачивают камень. Он остановился на Тохте, и в нём не было ни насмешки, ни гнева, и Тохта ждал чего угодно, но не того, что было.

Там было усилие.

Старик смотрел на него и старался понять вопрос. Он лежал и работал над этим вопросом, честно, как работал бы над схемой переправы, и он не мог, и это было видно.

— Ветер был с их стороны, — сказал он наконец. — Пыль шла на нас. Я плохо видел.

И отвернулся к дымнику.

Тохта сидел очень прямо.

Потом он взял кисть и дописал последнее — про тридцать миль, про то, как их гнали, — и посыпал лист песком, и стряхнул, и поднял к свету от очага, чтобы проверить, не смазал ли.

Не смазал.

Он смотрел на свою работу.

Она была превосходна. Она была именно тем, за чем его прислали: расстояния, сроки, потери, порядок действий. Любой темник, прочитав это через двадцать лет, понял бы, как перейти реку, которую нельзя перейти, и как гнать зверя, оставив ему выход. Это было чисто. Это было полезно. Из этого выйдет отличное наставление.

Тохта отложил лист и вышел из юрты, и его вырвало у воды.

Потом он умылся из Толы, и вода была холодная, и он долго держал в ней руки.

Он вернулся, сел и придвинул новый лист.

— Продолжим, — сказал он.

4

Онон, ок. 1190

Отец не пошёл его провожать.

Он вышел из кузницы, вытер руки, посмотрел, как сын подтягивает подпругу, и сказал:
— Джелме отдали с соболем.

Он это знал. Все знали. Отец отнёс старшего в ставку Есугея — в тот год, когда родился Темучжин, — и принёс с собой соболю шкуру и колыбель, и сказал: возьмите мальчика, он будет вам служить. Это было правильно. Это было по-людски: отец приводит сына, кладёт дар, и сын становится кем-то.

— С тобой соболя не дам, — сказал отец.

— Нет.

— И меня с тобой не будет.

— Нет.

Отец постоял.

— Тогда ты никто, — сказал он. И пошёл обратно в кузницу.

Он не обиделся. Он ехал два дня и думал об этом, и не нашёл в этих словах ничего, кроме правды. У отца было чем ковать, и было что есть, и был старший сын, отданный по-человечески, — а младший садился на коня без соболя. Отец сказал, что видел.

Он ехал, и лес кончался.

Он не сразу понял, что кончается. Деревья стояли реже, потом ещё реже, потом стояли по одному, потом их не стало вовсе, и он остановился, потому что впереди ничего не начиналось.

Он никогда не видел столько неба.

Он сидел на коне и смотрел, и ему было плохо. По-настоящему плохо, физически, как от высоты. В лесу небо было наверху, оно было потолком, и это было правильно — верх сверху. Здесь оно шло вниз со всех сторон и упиралось в землю кругом, и он был посередине, и он был очень маленький, и его было видно отовсюду.

Он слез с коня и сел на корточки.

Так стало лучше.

Он просидел так, наверное, долго. Потом поднялся, сел в седло и поехал в степь.

...

Ставка стояла на Ононе.

Он подъехал в полдень и его остановили в трёхстах шагах — двое, молодые, с луками, не сняв их с плеча. Спросили, кто. Он сказал: сын кузнеца Джарчиудая, брат Джелме.

Они переглянулись.

— Джелме на Керулене, — сказал один. — Вернётся не скоро.

Он молчал.

— Ну и что тебе.

Он не знал, что сказать. Он ехал восемь дней и ни разу не подумал, что его спросят, о том что ему нужно. Он думал: приеду к брату. Он думал: там разберутся.

— Я пришёл служить, — сказал он.

Тот, что говорил, посмотрел на него как на овцу.

— Ну служи, — сказал он и повернул коня.

Второй поехал за ним.

Он остался стоять.

...

Он простоял три дня.

Не просто стоял. Он расседлал коня и поставил его пастись на краю, и сам сидел там же, на бугре, шагах в двухстах от крайних юрт. Его никто не гнал. К нему подходили собаки, обнюхивали и уходили. Один раз проехал мимо всадник и посмотрел, но не остановился.

Его не выгоняли. Его не было. Он был пустым местом.

Он сидел и смотрел на ставку.

На второй день он начал считать.

Это не было осознанным решением. Просто стало нечем заняться, и было страшно — не остро, а ровно, тем страхом, который не проходит, а просто стоит внутри и обволакивает, — и он взял глазами первое, что двигалось, и посчитал.

Юрт было сто двенадцать.

Он пересчитал трижды и вышло сто двенадцать, а один раз сто тринадцать, потому что одну он посчитал дважды, и он нашёл, где ошибся, и от этого потеплело.

Потом он считал воду.

Женщины ходили к реке. От крайних юрт до воды было — он прикинул шагами по своему бугру — шагов четыреста, а от дальних вдвое больше. Женщина несла два ведра и делала это семь раз до полудня. Он посчитал женщин: их было около сорока, тех, кто носил. Он умножил и сбился, и стал умножать заново, разбив на десятки, и получилось, что ставка выпивает и выливает столько воды, сколько он не мог себе представить, и что за этой водой ходит в день сорок человек.

Он подумал: если поставить юрты ближе к реке, будет меньше ходьбы.

Потом подумал: их поставили не у реки с умыслом. Потому что у реки ставить нельзя — берег топкий, кони собьют грязь в реку, и вода станет грязная ниже по течению, а ниже по течению стоят другие юрты.

Он был доволен, когда понял.

Он считал коней. Коней было очень много, и он не смог их посчитать, и тогда он посчитал, сколько времени табунщик едет вдоль табуна от края до края, и посчитал шаг коня, и получил длину табуна, и от длины прикинул число, и число вышло большое, и он не поверил себе.

Он считал, сколько человек выходит из ставки утром и сколько возвращается вечером, и всегда была разница, и разница была не в пользу ставки — уходило больше, чем приходило, каждый день, и он два дня не мог этого объяснить, а на третий понял: они уходят надолго, партиями, и возвращаются другие, которых он не мог посчитать, потому что они уходили неделю назад, а он сидел тут три дня.

Тогда он впервые понял, что видит лишь часть.

Он сидел на бугре и смотрел на сто двенадцать юрт и понимал, что не видит ставку. Он видит три дня из ставки. А ставка — это годы, и люди приходят и уходят, и табун гоняют на дальние пастбища и обратно, и всё, что он посчитал, — это то же самое видеть реку в одном месте и считать, что знаешь ее всю.

Он сидел и думал, как посчитать то, чего не видишь.

И даже не заметил, что перестал бояться.

...

На четвёртый день к нему подъехали.

Не те двое. Другой — постарше, лет тридцати, в хорошем халате, и конь был хороший.

— Ты кто.

— Сын Джарчиудая.

— Брат Джелме.

— Да.

Человек смотрел на него сверху.

— Ты тут четвёртый день сидишь.

— Да.

— Чего сидишь.

Он открыл рот, чтобы сказать: пришёл служить. Он уже говорил это один раз, и он помнил, как на него посмотрели.

Он закрыл рот.

Он подумал — быстро, за одно дыхание, — что сказать «хочу служить» может каждый, и такие как он приезжают каждый день, и они никому они не нужны, потому что рук и так хватает, а лишний рот надо кормить.

И он сказал:

— У вас воду носят четыреста шагов от ближних юрт и восемьсот от дальних. Сорок женщин, семь ходок до полудня.

Человек молчал.

— Если вырыть яму на середине склона, вон там, — он показал, — и обложить глиной, и возить в неё воду раз в день бочкой на волокуше, то ходить надо будет двести шагов и вчетверо реже. В итоге освободится тридцать человек.

Тишина.

— Я не знаю, надо ли вам это, — сказал он. — Может, вы не хотите яму, потому что скоро уйдёте. Тогда не понадобится.

Человек всё смотрел.

Потом сказал:

— Мы уйдём через двенадцать дней.

— Тогда не понадобится, — сказал он.

Человек развернул коня. Отъехал на несколько шагов. Остановился.

— Как ты посчитал женщин, — сказал он, не оборачиваясь.

— Я их сосчитал.

— Всех?

— Тех, кто носит воду.

— Ты сидел тут четыре дня и считал баб с вёдрами.

Он молчал. Ему стало жарко, и он подумал, что сейчас его прогонят и это будет правильно.

Человек повернул голову.

— Слезай с бугра, — сказал он. — Поешь. Потом придёшь, будешь считать мне телеги.

Он встал.

Он пошёл вниз, ведя коня в поводу, и ноги были ватные, потому что четыре дня он почти не ходил.

Никто не спросил, умеет ли он стрелять.

Никто не спрашивал этого ещё три года.

5

Ставка, ок. 1197

Пили с полудня.

Он не любил, когда пили. Не потому что был против — он пил, как все, — а потому что за кумысом люди начинали много говорить, и говорили долго, и он никогда не знал, когда его очередь и что от него хотят услышать.

Темучжин сидел не выше других. Тогда ещё было так заведено: он сидел на войлоке, как все остальные, и кто хотел, мог к нему подойти. Ему было под сорок. Он был рыжеватый, светлоглазый, пил он мало и больше слушал, и от этого на круге всегда было немного не по себе.

Он спросил — не громко, не для всех, просто спросил соседа, и вопрос пошёл по кругу: — Чем будете служить мне?

И началось.

Первым говорил Чагатай — не сын, тот был мал, — другой, из тайчиутов, перешедший недавно, и он поднялся с чашей и сказал, что будет соколом. Что взлетит и увидит врага, и упадёт, и вырвет ему глаза. Он говорил красиво, и все ударили по коленям.

Потом сказали про волка. Потом ещё раз про волка. Волк был у двоих, и второй, поняв, что опоздал, сказал, что будет волком, который идёт впереди стаи, и это было хуже чем у первого, но прошло.

Потом был жеребец, который вынесет из любой сечи.

Потом был огонь.

Потом кто-то сказал, что будет щитом, и это было честно, и Темучжин кивнул, и человек сел довольный.

Он слушал.

Ему было двадцать три, и он сидел не близко, третий круг от очага, и его все ещё называли «брат Джелме», но он знал, что до него тоже дойдёт черёд, потому что чаша шла и доходила до всех.

Он сидел и думал.

Он думал: они все говорят одно и то же. Все говорят про удар. Сокол бьёт, волк рвёт, жеребец несёт в сечу, огонь жжёт. Все говорят, кем они будут в бою, потому что бой — это то, о чем можно рассказать, и то, за что хвалят.

А он семь лет считал телеги.

Он считал телеги, и корма, и переходы, и сколько дней войско идёт, пока не начнёт есть коней. Он ходил с разъездами, но не первым, никогда не шел первым, — он ходил и смотрел, где есть вода и где ее нет, и запоминал, и рисовал палкой на земле. Он два года водил обозы. Он знал, сколько стрел выпускает тысяча за один день боя, и сколько их можно собрать обратно с поля, и что собирают всегда меньше, чем думают, потому что многие стрелы ломаются, и что если их не собирать, то на третий день ты стоишь с пустыми колчанами против того, кто их собирал.

Он не был соколом. Он видел соколов — Джэбэ, которого ещё звали Джиргоадай, стрелял так, что этому невозможно выучиться. Он видел, как дерётся Мухали. Он сам дрался и дрался неплохо, но неплохо дрались все, и хвалиться этим перед этими людьми было бы смешно.

Чаша шла.

Он посчитал: до него ещё четверо.

И он понял, что сейчас ему надо будет что-то сказать, и что если он скажет про сокола — а он может сказать про сокола, ведь это просто, — то он соврёт, и Темучжин это увидит,

потому что Темучжин видел всё, и его посадят обратно на место, и он останется никем ещё на семь лет.

А сказать правду было стыдно.

Он сидел и чувствовал, как горит лицо, — как тогда, на бугре, когда его спросили, как он посчитал баб с вёдрами.

Двое.

И в голову пришло: крыса.

Он подумал это, и его затошнило.

Он знал, что делает крыса. Крыса приходит, когда всё кончилось. Она не воюет. Она собирает — по зёрнышку, по крошке, из-под ног, ночью, в темноте, там, где никто не видит и никто не благодарит. Она приносит в нору. Она приносит столько, что можно жить зиму, а никто не знает, откуда.

Он подумал: ворон.

И это было ещё хуже, и он это знал.

Ворон приходит на поле после боя. Ворон — это то, что видят все, и все отворачиваются. Ворон уносит.

Он сидел и понимал, что оба слова — про падаль. Что он собирается встать перед всеми, кто только что сказал «сокол», «волк», «огонь», и назвать себя двумя тварями, которых человек гонит от себя.

Один.

Он посмотрел на Темучжина.

Темучжин не смотрел на говорящего. Он смотрел куда-то в чашу, и лицо у него было усталое и скучающее, и Субэдей вдруг понял с полной ясностью, от которой стало холодно: ему это всё не нужно.

Ему не нужны соколы. У него полно соколов, и они клюются между собой, и он их кормит. Ему нужно, чтобы кто-то посчитал, сколько стрел вернётся с поля.

Он никого об этом не просил, потому что не знал, что об этом можно просить.

Чаша дошла.

Он встал.

Он стоял и молчал дольше, чем можно было молчать, и на него начали смотреть, и он услышал, как кто-то хмыкнул.

Он сказал:

— Стану крысой — соберу для тебя.

Тишина была одно дыхание.

Потом кто-то фыркнул в чашу, и его прорвало, и он захохотал, и захохотали все.

Он стоял.

Он ждал, пока стихнет, и не стихало долго, и он говорил через смех, громче, чем хотел, и голос у него сорвался, и от этого засмеялись ещё больше:

— Стану вороном — унесу для тебя.

Хохот.

Кто-то крикнул: «Птичка!» Кто-то — не зло, беззлобно, весело: «Подай ему падаль!» Смеялись хорошо, как смеются, когда пили с полудня и вот наконец случилось что-то смешное.

Он стоял и договаривал, и его уже никто не слушал:

— Стану войлоком — прикрою.

— Стану попоной — заслоню от ветра.

И сел.

Он сел и смотрел в землю, уши горели, и он думал: всё - конец. Теперь ждать еще семь лет. Он думал: надо было про сокола.

...

Смех кончился, как кончается всякий смех, — сам собой, оставив после себя пустоту, в которой все вдруг вспомнили, что тут сидит Темучжин.

Темучжин не смеялся.

Он поставил чашу.

Он посмотрел на него — и Субэдей понял, что тот смотрит на него давно, может быть, с той минуты, когда он встал.

— Ты собрал стрелы под Далан-Балчжутом, — сказал Темучжин.

Он не сразу сообразил, что это к нему.

— Да, — сказал он.

— Сколько.

— Одиннадцать тысяч четыреста. Годных — девять с чем-то. Я не помню точно, сколько с чем-то.

— За сколько дней.

— Два. Больше собирать нельзя, дальше их растаскивают.

Темучжин кивнул.

Он повернулся к остальным и сказал — ровно, без выражения, тем же голосом, каким спрашивал про службу:

— У меня четыре сокола и два волка. — Он помолчал. — А крысы не было.

Никто не засмеялся.

Он не понял, шутка это или нет, и по лицам он видел, что никто не понял.

Темучжин снова взял чашу.

— Иди сюда, — сказал он, не глядя. — Сядь ближе. Ты далеко сидишь, я тебя не слышу.

...

Он перешёл во второй круг.

Он сидел там до утра и почти не пил, и с ним не заговаривали, потому что не знали, о чём с ним говорить.

Ночью, выйдя до ветру, он стоял в темноте, и его трясло, и он не мог понять от чего.

Он думал: я сказал вслух, кто я.

Он думал: теперь это моё имя, и мне с ним ходить.

Он сунул руку за пазуху и нащупал железо.

Оно было холодное.

Он держал его в кулаке, пока не перестало трясти, и оно опять не согрелось, да он уже не ждал.

6

Тола, 1248

Дождь пошёл ночью и шёл весь день.

Женщина подставила под дымник кожаное ведро, и вода капала в него неровно, и звук был такой, что Тохта поймал себя на том, что считает капли, и разозлился, и перестал.

Старику было хуже. Он дышал чаще. Каждый вдох шёл с усилием, будто он поднимал что-то, и Тохта не знал поднимет ли он следующий раз или нет, Субэдей продолжал дышать.

— Я хотел бы отойти от походов, — сказал Тохта.

— Отойди.

— Расскажи про клятву.

Дыхание.

— Какую.

Тохта посмотрел на него.

— Крыса и ворон.

Тишина. Капля. Капля.

— Что.

— «Стану крысой — соберу для тебя. Стану вороном — унесу для тебя. Стану войлоком — прикрою. Стану попоной — заслону от ветра».

Он сказал это наизусть, как учил. Он выучил это в двенадцать лет, вместе с другими образцами правильной речи, и его заставляли повторять, пока эта фраза не начала отскакивать от зубов.

Старик молчал.

— Это твои слова, — сказал Тохта. — Их знают все. Их переписывают в наставлениях о службе. Мой учитель говорил, что нет более совершенного изъяснения преданности.

Молчание.

— Я хочу знать, когда ты их сказал.

Дыхание. Дыхание.

— Я не помню, — сказал Субэдей.

Тохта ждал.

— Не помнишь года?

— Не помню слов.

Кисть остановилась.

— Ты не помнишь своей клятвы.

— Нет.

— Её знает вся империя.

— Значит, я их сказал, — согласился старик спокойно. — Раз знают.

Тохта положил кисть.

Он положил её очень аккуратно, потому что рука хотела не положить, а бросить.

— Ты меня обманываешь.

— Зачем.

Он не нашёл зачем.

— Тогда объясни мне, — сказал Тохта, и голос у него пошёл выше, и он услышал это и не смог остановиться. — Ты помнишь, сколько плотов вязали на Шайо. Ты помнишь, сколько коней утонуло — четыреста, ты сказал четыреста, ты помнишь коней, которые сдохли восемь лет назад. Ты помнишь, что король слушал брата. Ты помнишь три реки, которые выбрал в

декабре, и какая из них была вторая. — Он дышал. — И ты не помнишь, что ты сказал Чингисхану.

Он остановился.

Он никогда в жизни не говорил ни с кем в таком тоне и уж точно не собирался говорить так с этим человеком.

Старик не рассердился.

Он лежал и, кажется, работал — как позавчера, когда Тохта спросил, что он чувствовал. Он честно вспоминал.

— Смеялись, — сказал он вдруг.

Тохта не понял.

— Что?

— Все смеялись, — сказал Субэдей. — Долго. Кто-то крикнул: птичка.

Он замолчал. Потом:

— Ночью было холодно. Я выходил. Меня трясло.

Тохта сидел, не двигаясь.

— Значит, ты помнишь.

— Я помню, что было холодно.

— А слова?

— Слов нет, — сказал старик, и это прозвучало буднично, как «плотов не хватило». —

Там, где должны быть слова, ничего нет.

Капало в ведро.

— Как это может быть, — сказал Тохта.

Он спросил это не для записи. Он спросил, потому что не мог сдержаться.

— Я не знаю, — сказал Субэдей. — Я часто замечал, что помню не то, что надо.

...

Тохта вышел под дождь.

Он стоял под дождём и не понимал, что с ним.

Он думал о деде.

Дед приехал в Каракорум стариком и умер там, и всю последнюю зиму говорил одно и то же, и его слушали. Он говорил: мы пришли сами. Идикут собрал знать, и они постановили, и он поехал и повёз золото и дочерей, и сказал: буду пятым сыном.

И уйгуры уцелели.

Уцелели города, уцелели книги, уцелело письмо, и монголы взяли это письмо себе, и теперь империя пишет уйгурскими буквами, и Тохта пишет ими каждый день, и это его хлеб.

Мы уцелели, потому что подчинились.

Он жил с этим тридцать шесть лет. Он жил с этим так, как живут с горбом.

И была фраза. Была совершенная, отточенная, вбитая в него с двенадцати лет фраза о том, как надо служить, — крыса, ворон, войлок, попона, — и он всю жизнь чувствовал в ней укор, и всю жизнь ненавидел её, и всю жизнь знал наизусть.

Он ехал к человеку, который её произнёс.

Он ехал шесть недель, и он хотел — теперь он мог себе в этом признаться, стоя под дождём у Толы, — он хотел увидеть в нём раба. Гениального, страшного, но раба. Человека, который сам, добровольно, вслух назвал себя крысой и на этом построил жизнь. И тогда всё сходилась бы: и уйгуры, и дед, и он сам. Тогда весь этот мир — мир, где подчинение выше доблести, — имел бы одно объяснение, и объяснение было бы подлым, и Тохта был бы подлым вместе со всеми, и в этом он мог бы найти даже что-то вроде покоя.

А старик забыл.

Он забыл фразу, из-за которой Тохту били по рукам в двенадцать лет.

Для него её просто не было.

Он помнил стрелы. Он помнил, что их было одиннадцать тысяч четыреста и что годных девять с чем-то, и что дольше двух дней собирать нельзя, потому что растаскивают.

Он помнил работу.

А клятва — клятва была то, что слышалось другим.

Тохта стоял под дождём, и его трясло, и он не мог понять, от чего именно, потому что это был не гнев, и это не было облегчением, и вообще это состояние нельзя было описать.

...

Он вернулся, мокрый, сел и придвинул лист.

Старик спал или не спал — не понять.

Тохта растёр тушь.

Он написал заголовок: «О служении».

И остановился.

Он должен был написать: спрошенный о клятве, не помнит её.

Это была правда. Это было то, что произошло сегодня, четырнадцатого дня, в юрте у Толы, под дождём.

И это было невозможно.

Он представил, как этот лист ложится на стол в канцелярии. Как его читают. Как чиновник — он даже знал какой, толстый, с обгрызленным ногтем на левом мизинце — поднимает бровь и говорит: писец не справился. Писец приехал за шесть недель пути к величайшему полководцу и не сумел получить от него его собственную клятву. Заменить писца.

Он представил и другое, хуже: что лист примут. Что его подошьют. И что через сто лет кто-то прочтёт и узнает то, чего не знает никто: что слов не было.

Тохта долго смотрел на пустой лист.

Потом обмакнул кисть и написал:

«Спрошенный о служении, он повторил слова, сказанные им некогда при государе Чингисе: „Стану крысой — соберу для тебя. Стану вороном — унесу для тебя. Стану войлоком — прикрою тебя. Стану попоной — заслону от ветра“».

Он сыпал песком.

Страхнул.

Поднял к свету, чтобы проверить, не смазал ли.

Не смазал.

Почерк был ровный, уставной, канцелярский — тот, которому его учили, тот, за который его хвалили, тот, которым пишут вечное.

Тохта смотрел на свою строку и слушал, как капает в ведро.

Потом он аккуратно, не торопясь, отложил лист в стопку готовых.

Он не сказал себе ничего.

Он просто взял новый лист, и придвинул его, и стал ждать, когда старик проснётся.

7

Северный Китай, ок. 1212

У города было длинное название, и никто его не выговаривал.

Стены были в шесть человек, поставленных друг на друга, он посчитал по кладке, ряды были ровные, и он считал ряды. Ров был с водой. За ровом шла вторая стена, ниже, и башни стояли так, что от каждой простреливалось подножие соседней, и это было сделано умно, и он полдня лежал и смотрел, кто это придумал.

Стояли шестую неделю.

Он видел, как это влияет на осаждающих.

Стрелы заканчивались — не так чтобы совсем, но их берегли, и это было хуже, чем если бы закончились. Кони съели траву на два перехода вокруг, и их гоняли дальше, и это значило, что если китайцы ударят из города, конница будет не под рукой. Люди начали болеть животом. В обозе резались из-за женщины, и одного зарубили, и десятника, чей человек зарубил, повесили, и это было правильно.

Три раза лезли на стены.

Он смотрел, как лезут. Он смотрел с холма, вместе с обозными, потому что он был обозный, ему было под сорок, и он водил тумен, но тумен стоял, а стены брали другие.

Первый раз лезли днём, и их сбросили за час.

Второй раз лезли ночью, и вышло хуже, потому что в темноте лестницы ставили не туда, и стрелы били сверху вслепую, но сверху и вслепую — это всё равно вниз, в кучу, а когда бьёшь в кучу, нельзя промахнуться.

Третий раз пригнали пленных, и пленные шли впереди с фашинами, фашины клали в ров, и люди падали в ров вместе с фашинами, и ров засыпали людьми, и по ним пошли, и всё равно не взяли.

Он сидел ночами и думал.

Он думал не о стене. Со стеной он ничего не мог сделать: он не знал ничего о стенах, он вырос в лесу и семь лет считал телеги.

Он думал о воде.

Он думал о воде, потому что это было единственное, о чём он умел думать: сколько её, откуда идёт, сколько уходит, кого носит.

Он взял двоих и ушёл на четыре дня.

Он обошёл город по большой дуге, за холмами, где их было не видно со стен, и он смотрел на реку. Река шла с севера и подходила к городу, и не входила в него — она проходила мимо, в четверти перехода, — и это было первое, что он не понял.

Он сидел на берегу и смотрел на воду.

Город стоял на равнине. Река шла ниже города — не сильно, но ниже, он определил по тому, как ложится вода на разливе и где стоит старый ил. Вода не пойдёт в город сама. Значит, они её тянут.

Он пошёл вдоль реки и нашёл.

Канал. Старый, обложенный камнем, с деревянными затворами, — он уходил от реки и шёл к городу, и над ним, там, где он приближался к стенам, была насыпь, и по насыпи шла своя стена, низкая, и на ней стояли часовые.

Он лежал в траве и смотрел на канал полдня.

И понял, что смотрит не туда.

Он не думал: перекрыть воду. Об этом думали все. Это придумал бы любой, и, наверное, кто-то уже придумал и доложил, и, наверное, посчитали, что город продержится на колодцах, и колодцы там есть, потому что город старый, а старые города не строят без колодцев.

Перекрыть — значит ждать. Ждать он не мог, ждали уже шесть недель.

Он смотрел на затворы и думал о другом.

Он думал о том, что вода — это не только когда её нет.

...

Он вернулся и пошёл к Ляю.

Ляю был киданем, перебежчиком, инженером, и он один во всём войске понимал, как строят и как рушат стены, и его слушали, потому что больше слушать было некого. Ему было лет пятьдесят, он был худой, желчный, всех презирал и этого не скрывал.

Субэдей сел напротив него и стал рисовать палкой на земле.

Он нарисовал реку. Нарисовал канал. Нарисовал город и показал, где ниже, а где выше.

Ляю смотрел на землю и молчал.

Субэдей сказал:

— Если запрудить реку здесь и здесь, вода поднимется. Она не пойдёт в канал, канал узкий, она пойдёт через край — вот сюда, по этой низине, к южной стене. Там низина. Я ходил, там влажно круглый год, там осока.

Ляю молчал.

— Стена стоит на глине, — сказал Субэдей. — Не на камне. Я смотрел, где обвалилась старая кладка на углу, там видно основание. Глина.

Ляю поднял голову.

— Ты не возьмёшь стену водой, — сказал он. — Ты будешь заливать месяц.

— Я не буду брать стену.

— А что.

— Я подмочу основание. Потом мы копаем подкоп в размокшую глину. В сухой глине копать нельзя, там свод держит и его надо крепить. Во влажной не надо держать. Во влажной она сядет сама, если просто убрать часть снизу.

Ляю смотрел на него.

Он смотрел долго, и лицо у него было такое, будто он услышал непристойность.

— Стена сядет и на нас, — сказал он.

— Да.

— Ты знаешь, сколько людей ты положишь в подкопе?

— Не знаю. Много. Больше, чем на лестницах?

Ляю не ответил.

Он взял у Субэдея палку.

И стал рисовать сам.

Он рисовал быстро, зло, и стирал, и рисовал снова, и говорил себе под нос по-кидански, и Субэдей не понимал ни слова и сидел молча.

Через час Ляю сказал:

— Плотину надо не здесь. Здесь ты её не удержишь, тут дно каменное, вода уйдёт под низ. Надо выше, там русло глинистое.

— Хорошо.

— И не одну. Три ступени. Иначе снесёт.

— Хорошо.

— И копать не под южной стеной. Под юго-восточным углом. Углы всегда хуже сложены, углы делают в конце стройки, когда кончаются деньги.

Субэдей смотрел на землю.

— Я этого не знал, — сказал он.

Ляо посмотрел на него.

— Ты вообще ничего не знаешь, — сказал он.

— Согласен.

Кидань ещё немного посмотрел, потом отвернулся и снова стал чертить.

...

Копали двадцать два дня.

Он потерял в подкопе сто девяносто с чем-то человек — точно не считали, потому что многих не достали. Свод садился трижды. Люди работали в воде по пояс, вслепую, и вылезали серые, и их отпаивали и гнали обратно.

Стена села на двадцать третий день, утром, и села хорошо — не рухнула, а именно осела, тихо, почти без грохота, вдруг оказавшись ниже человека в самой середине, и в этом провале стояла жижа и торчали брёвна, и туда сразу пошли.

Город взяли за день.

...

Чингис приехал через неделю.

Он объезжал стену — ту, севшую, — и остановил коня над провалом и долго смотрел вниз.

Потом повернулся.

Стояли все: темники, тысячники, Ляо стоял позади, третьим рядом, потому что был кидань и перебежчик.

— Кто, — сказал Чингис.

Тишина.

Субэдей стоял и смотрел на луку седла.

Он думал очень быстро, и мысль была холодная и ясная, как бывает утром на голодный желудок.

Он думал: если я скажу «я».

Он думал: мне сорок, я лесной, у меня нет никого, кроме брата, а брат далеко. Здесь стоят Чагатай и Джучи, здесь стоят люди, у которых по три поколения в этой степи, и они держатся друг за друга, и они шесть недель не могли взять этот город. Если я скажу «я», я получу похвалу на один день. А потом я буду человеком, который получил похвалу.

Он думал: за похвалу надо будет отвечать. Каждый день. Всю оставшуюся жизнь.

Он думал: у меня нет чем за нее отвечать.

И потом он подумал ещё одно, и это заняло меньше времени, чем всё остальное.

Он подумал: Ляо.

Ляо был кидань. Ляо был никто — хуже, чем никто, он был перебежчик, которого держали при войске, как держат хорошего пса. Ляо ничего не терял и ничего не приобретал. Ляо было пятьдесят, и он всех презирал.

Если похвалу возьмёт Ляо, за похвалу никто не станет драться.

— Ляо, — сказал Субэдей.

Все повернулись.

— Кидань, — сказал он громко, потому что Чингис был далеко и надо было, чтобы он услышал. — Он рассчитал плотины и он поставил подкоп под угол. Я бы поставил под южную стену. Он сказал, что углы кладут в конце, когда заканчиваются деньги. Я не знал этого. Он знал.

Тишина.

Ляо стоял в третьем ряду и не двигался.

Чингис смотрел на киданя.

— Подойди, — сказал он.

Ляо подошёл.

Чингис говорил с ним недолго. Он спросил про плотины, и Ляо ответил, и Чингис кивнул. Он дал ему пайцзу и дал ему людей, и Ляо кланялся и был жёлт, и руки у него тряслись.

Субэдей стоял и смотрел.

Он ждал, что будет обидно.

Он думал об этом двадцать два дня, пока копали, и он готовился к тому, что будет обидно.

Он думал: я отдам, и мне будет плохо, но я перетерплю, потому что так надо.

Ему не было обидно.

Он стоял, смотрел, как Ляо берёт пайцзу, и ничего не чувствовал — вообще ничего, ровно, гладко, как рукой по войлоку.

И вот тогда ему стало страшно.

Он стоял в строю, в первом ряду, среди темников, над провалом, в котором лежали сто девяносто его людей, и ему было страшно так, как не было ни в одном бою.

Он подумал: со мной что-то не то.

Он подумал: у людей от такого болит. У людей это должно болеть.

Он сунул руку под халат и нащупал железо, и сжал его, и держал, и ждал.

Железо снова было холодное.

...

Разъезжались к вечеру.

Он поворачивал коня, когда мимо, шагом, проехал Чингис.

Он не остановился. Он ехал мимо, глядя вперёд, и лицо у него было усталое, и он ехал в свою юрту, и было ясно, что он думает уже о другом городе.

Проезжая, он сказал — тихо, себе, не поворачивая головы:

— Крыса.

И проехал.

Субэдей стоял.

Он так и не понял, что было в этом слове — и никогда потом не смог понять.

Он поехал к обозу считать, сколько стрел собрали в городе.

Собрали много. Больше, чем он думал. Он был доволен.

8

Тола, 1248

Утром старику было лучше.

Тохта научился это определять: если голова повёрнута не в дымник, а к очагу, значит, ночь прошла легче. Сегодня она была повёрнута к очагу.

— Осада, — сказал Тохта. — В Китае. Двенадцатый год.

— Какая.

— Где стена села от воды.

Дыхание.

— Это Ляо, — сказал Субэдей.

Тохта поднял кисть.

— Кидань?

— Кидань. Инженер. Он посчитал плотины — три ступени, потому что одну снесло бы. И он поставил подкоп под юго-восточный угол.

— Почему угол?

— Потому что углы кладут в конце, когда заканчиваются деньги, — сказал старик, и это прозвучало как что-то давно и прочно выученное. — Углы всегда стоят хуже.

Тохта писал.

— Повелитель дал ему пайцзу, — сказал Субэдей. — Он потом много строил. И ломал. Он умер, кажется, в двадцатых, я не помню где.

— А ты?

— Что я.

— Ты был там.

— Я был там, — согласился он. — Я водил тумен. Тумен стоял под стенами.

Тохта перестал писать.

Он смотрел на него.

Старик лежал спокойно. Он не отводил глаза — у него был один глаз и отвести его было некуда, но и в голосе не было ничего, ни уклончивости, ни игры. Он ответил на вопрос и лежал дальше.

— Значит, замысел был киданя, — сказал Тохта.

— Да.

— Целиком.

— Он рассчитал плотины и он выбрал угол, — сказал Субэдей терпеливо, как повторяют ребёнку. — Я бы поставил подкоп под южную стену. Я не знал про углы.

Тохта посмотрел в лист.

— Но ты знал про воду.

Молчание было короткое, но оно было.

— Про воду знали все, — сказал старик. — Реку хотели перекрыть с самого начала. Об этом говорили в первую неделю.

— Перекрыть, — сказал Тохта. — Не поднять.

Дыхание.

— Не помню, — сказал Субэдей.

...

Тохта сидел над листом.

Он знал, что делать. Он делал это тысячу раз: сверить. У него была память на бумагу — не на людей, не на лица, на бумагу; он мог сказать, на каком листе и в какой строке стояло слово, которое он читал восемь лет назад.

Он читал донесения о китайской кампании. Их было много, они были плохо составлены — тогда ещё не умели правильно составлять, — и он их правил.

Он закрыл глаза.

Он увидел лист. Он увидел столбец. Он увидел строку — короткую, служебную, из тех, что вписывают между делом, потому что так положено, и никто её не читает.

«...и стена осела на двадцать третий день, по совету Субэдея-багатура, а работы вёл кидань Ляо».

Тохта открыл глаза.

Он посмотрел на старика.

Тот дремал — или не дремал, не понять; веко над пустой глазницей никогда не закрывалось до конца.

По совету Субэдея-багатура.

Пять слов. Он правил этот лист восемь лет назад и не остановился на них ни на мгновение. Он тогда исправил в этой фразе запятую.

Тохта сидел очень тихо.

Он думал: значит, писарь знал.

Значит, кто-то — какой-то писарь при войске, безымянный, сидевший в обозе с чернильницей, — записал то, что видел. Записал коротко, потому что не понимал важности, и вставил между делом, и никто никогда этого не заметил, кроме одного уйгура, который через тридцать шесть лет приедет умирающему в юрту.

И этот уйгур сейчас сидит и держит в руках всё, что нужно.

Он мог написать: замысел принадлежал ему, он отдал его киданю.

Он мог написать это, и это была бы правда — не выдумка, не догадка, у него была строка, у него был свидетель, лежащий в трёх шагах и не помнящий сам себя.

Он мог поставить имя туда, откуда его убрали.

Кисть висела над листом.

Он не двигался очень долго.

Потом он написал:

«Стена была взята подкопом под юго-восточный угол, ибо углы кладутся в конце, когда истощаются средства, и всегда слабее. Расчёт плотин — три ступени, дабы напор не снёс насыпь. Работы вёл кидань Ляо».

Он посыпал песком.

Он не написал ни одного имени, кроме киданя.

Он положил лист в стопку и посмотрел на свою руку.

Рука была спокойная.

Он подумал — и мысль пришла целиком, готовая, будто лежала и ждала: я третий раз пишу не то, что вижу.

Первый раз — из трусости.

Второй раз — из жалости.

А сейчас — потому что он так хочет.

Тохта сидел и слушал это в себе, и внутри было тихо, и никакого отвращения не приходило, и он ждал его и не дождался.

...

Гонец приехал в тот же день, к вечеру.

Он приехал из Каракорума, и он был злой и грязный, и он искал не Тохту — он вёз что-то в становище и заодно, между делом, отдал ему свёрток.

— Из канцелярии, — сказал он. — Ответ.

Тохта отошёл к воде и развернул.

Он писал в канцелярию месяц назад — первое письмо, в котором соврал: он написал, что старик слаб, но говорит охотно, что материал обширен, и что он просит продлить срок работы и прислать еще бумаги, потому что бумаги мало, а работа будет большая.

Ответ был на одном листе. Почерк — не начальника, младшего писаря; Тохта знал этот почерк и знал этого писаря, тот был глуп и старателен.

«Бумаги послать не можем, бумага расписана до конца года.

Срок продлевается по усмотрению.

О сроке напоминаем, что порядок наставлений о войске пересматривается. Часть разделов отложена.

Даругачи Бешбалыка сообщил о недоимке за прошлый год. По возвращении явиться».

И всё.

Тохта прочёл дважды.

Он стоял у воды с листом в руке.

Часть разделов отложена.

Он смотрел на реку.

Он думал: это ничего не значит. Это канцелярия. Там всегда что-то откладывают, а потом возвращают, там половину года ничего не делают, а потом всё делают за неделю. Умер каган, регентша не утверждена, никто ничего не подписывает. Это пройдёт.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.